



*Вирджиния Вулф*  
Я — КРИСТИНА РОССЕТТИ

Пятого декабря 1930 года Кристина Россетти отпразднует свой столетний юбилей, или, правильнее сказать, праздновать её юбилей будем мы — читатели. Чествование со всеми подобающими речами вызвало бы у Кристины чувство острой неловкости, потому как женщиной она была робкой. Тем не менее юбилея не избежать; время неумолимо; говорить о Кристине Россетти мы должны. Перелистаем страницы её жизни; почитаем её письма; взглянемся в её портреты; посудачим о её болезнях, кои отличались разнообразием; наконец, погремим ящиками её письменного стола — большей частью пустыми. Не начать ли с её биографии — что может быть занятнее, чем биография писателя? Многие испытали на себе очарование таковых. Откроем книгу «Жизнь Кристины Россетти», написанную компетентной мисс Сандерс, — и с головой погрузимся в прошлое. Будто в распаханном чёрном ящике иллюзиониста, мы увидим кукол — уменьшенную во много раз копию людей, живших сто лет тому назад. Всё, что от нас потребуется, — это смотреть и слушать, слушать и смотреть, и куклы, возможно, начнут двигаться и говорить. И тогда мы примемся расставлять их и так и этак, между тем как, будучи живыми людьми, они не сомневались, что могут идти куда им заблагорассудится; мы будем видеть в каждом

их слове особенный смысл, о каком они и не подозревали, говоря первое, что приходит им в голову. Что поделаешь, читая биографию, мы всё видим несколько в ином свете.

Итак, мы в Портленд-Плейс, на Хэллам-стрит, в 1830-е годы; а вот и семейство Россетти — отец, мать и четверо ребятшек. Хэллам-стрит того времени нельзя назвать фешенебельной, и на доме лежит отпечаток бедности, однако это ровным счётом ничего не значит для Россетти, ведь их, итальянцев, нимало не заботят условности и правила, которыми руководствуется так называемый средний класс Англии. Россетти живут обособленно, одеваются как считают нужным, принимают у себя бывших соотечественников, среди которых и шарманщики, и нищие, сводят концы с концами уроками и сочинительством, а также другим случайным заработком. Мы видим и Кристину — чем старше она становится, тем дальше отстоит от семейного круга. И дело не в том, что ребёнок она тихий, склонный к созерцанию, будущий писатель со своим особенным миром, умещающимся в его голове, — гораздо большую роль тут играет чувство преклонения, которое она испытывает перед старшими, столь знающими и образованными. Но вот приходит время наделить Кристину подругами и сказать, что она не любит наряжаться и питает отвращение к балам. Ей безразлично, как она одета. Ей симпатичны друзья, бывающие у её братьев, а также сборища, на которых молодые художники и поэты обсуждают будущее устройство мира. Порой их разговоры забавляют её, ведь степенность причудливо сочетается в ней с эксцентричностью, и она не упустит случая посмеяться над тем, кто самовлюблённо считает себя важной персоной. И хотя она пишет стихи, в ней нет и следа той тщеславной озабоченности, которая присуща начинающим поэтам; стихи складываются в её голове сами собой, и её не беспокоит, что скажут о них другие, ведь в том, что эти стихи хороши, она уверена и так. Её восхищают родные: мать, такая спокойная и простая, искренняя и пронизательная; старшая сестра Мария, не имеющая склонности ни к рисованию, ни к сочинительству, но,

может быть, оттого столь энергичная и хваткая в житейских делах. Даже отказ Марии посетить Египетский зал в Британском музее, вызванный опасением, как бы её посещение ненароком не совпало с днём Воскресения, когда посетителям Египетского зала неприлично будет глазеть на мумии, обретающие бессмертие, — даже эта рефлексия сестры, пусть и не разделяемая Кристиной, кажется ей замечательной. Конечно, нам, находящимся вне чёрного ящика, слышать такое смешно, однако Кристина, оставаясь в нём и дыша его воздухом, расценивает поведение сестры как достойное высочайшего уважения. Если бы мы могли, мы бы увидели, как в самом существе Кристины зреет что-то тёмное и твёрдое, как ядро ореха.

Это ядро, несомненно, вера в Бога. Мысли о божественной душе овладели Кристиной, когда она была ещё ребёнком. Тот факт, что все шестьдесят четыре года своей жизни она провела на Хэллам-стрит, в Эйнсли-парк или на Торрингтон-сквер, не более чем видимость. Настоящая её жизнь протекала в другом, весьма причудливом месте, где душа стремится к невидимому Богу — для Кристины это был Бог тёмный, Бог жестокий, Бог, объявивший, что ему ненавистны земные удовольствия. Ненавистен театр, ненавистна опера, ненавистна нагота; оттого художница мисс Томсон, подруга Кристины, вынуждена была сказать, что обнажённые фигуры на её картинах нарисованы «из головы», а не с натуры. Кристина простила обман, пропустив его, как и всё, что происходило в её жизни, через клубок душевных мук и веры в Бога, гнездившийся у неё в груди.

Религия вмешивалась в жизнь Кристины до мелочей. Религия подсказывала ей, что играть в шахматы нехорошо, а вот в вист или криббедж — можно. Религия вмешивалась и в те важные вопросы, которые должно было решать её сердце. Художник Джеймс Коллинсон<sup>1</sup>, любивший её и лю-

---

<sup>1</sup> Джеймс Коллинсон — английский живописец Викторианской эпохи, член Братства прерафаэлитов с 1848 по 1880 г.

бимый ею, был романо-католиком. Она согласилась стать его женой, лишь когда он примкнул к англиканской церкви. Терзаясь сомнениями, будучи человеком ненадёжным, он накануне свадьбы всё же вернулся в римско-католическую веру — и Кристина разорвала помолвку, пусть это разбило её сердце и бросило тень на всю её последующую жизнь.

Годы спустя новая — лучше первой — перспектива семейного счастья замаячила перед Кристиной. Ей сделал предложение Чарльз Кэли, — но увы! — этот эрудированный господин в застёгнутом не на те пуговицы платье, который перевёл для ирокезов Евангелие и справлялся у дам на званых вечерах, знают ли, что такое Гольфстрим, а в качестве подарка преподнёс Кристине заспиртованную морскую мышь в баночке, — этот господин, разумеется, был вольнодумцем. Ему, как и Джеймсу, Кристина отказала. И пусть, по её признанию, «не было женщины, которая любила бы мужчину сильнее», стать женой скептика она не могла. Ей, обожавшей «курносых и мохнатых» — вомбатов, жаб и всех мышей на Земле, — называвшей Чарльза «мой канюк бескрылый» или «мой любимый крот», невозможно было разрешить кротам, канюкам, мышам или чарльзам кэли подняться на свои небеса.

В тот чёрный ящик можно глядеть долго. Нет конца странностям, причудам и курьёзам, заключённым в нём. Но стоит задуматься, какой тайный уголок этого ящика мы ещё не исследовали, нам даст отпор сама Кристина Россетти. Представьте себе, что рыбка, природной грацией которой мы любуемся — заплывает ли она в заросли тростника или нарезает ли круги вокруг камня, — вдруг бросается на стекло аквариума и разбивает его. Подобное случилось во время чаепития у миссис Тэббс — в числе гостей там оказалась Кристина Россетти. Что послужило поводом, мы в точности не знаем. Возможно, кто-то в легковесно-небрежном тоне, который пристал подобным чаепитиям, отозвался о поэзии или поэтах. Как бы там ни было, ко всеобщему удивлению, маленькая женщина

в чёрном платье поднялась с кресла, вышла на середину комнаты и, торжественно объявив всем: «Я — Кристина Россетти!», — возвратилась на своё место.

Слова сказаны — стекло на наших глазах разбилось. «Да, — означают эти слова, — я поэт. А вы, делающие вид, будто отмечаете мой юбилей, нисколько не лучше тех, кто пил чай у миссис Тэббс. Вы интересуетесь ничем не значащими подробностями моей жизни, гремите ящиками моего письменного стола, смеётесь над Марией, над мумиями и над моими сердечными делами, а между тем всё, что я хотела бы вам о себе рассказать, находится здесь, в этом зелёном томике. Это избранные мои стихи. Купите их за четыре шиллинга и шесть пенсов. Прочитайте». — И она снова усаживается в кресло.

Какие непримиримые идеалисты эти поэты! Поэзия, они утверждают, не имеет ничего общего с жизнью. Мумии и вомбаты, Хэллам-стрит и омнибусы, Джеймс Коллинсон и Чарльз Кэли, заспиртованная морская мышь в баночке, мисс Тэббс, Торрингтон-сквер и Эйнсли-парк — всё это, включая религиозные догмы, весьма относительно, не имеет ценности, мимолётно, эфемерно. Существует только Поэзия, вопрос лишь в том, хороша она или плоха. И ответить на него возможно не сразу, а лишь по прошествии времени. Не так уж много путного сказано о Поэзии с тех самых пор, как она существует. Современники, как правило, ошибаются в своих оценках. Почти все стихотворения, включённые в собрание сочинений Кристины Россетти, были когда-то отвергнуты редакторами. Годовой доход, который она имела от стихов, на протяжении многих лет не превышал десяти фунтов, тогда как книги Джин Инджеллоу, о которых она отзывалась саркастически, выдержали восемь прижизненных переизданий. Были, разумеется, в окружении Кристины Россетти поэты и критики, к суждениям которых можно было и прислушаться, но даже они подходили к стихам Кристины с весьма различной меркой.

«Ничего лучше в поэзии создано не было!» — восклицает об этих стихах Суинберн, восхищаясь «Рождественским гимном», который «жжёт как огонь и проливается лучами солнечного света, звучит как шум морских волн со всеми их аккордами и каденциями, недоступными ни арфе, ни органу, а также отдаёт многократно усиленным эхом, доносящимся с небес».

За Суинберном дадим высказаться профессору Сейнтсбери, который подвергнет всестороннему изучению главное произведение Кристины — поэму «Базар гоблинов» — и сделает вывод, что метр его правильнее всего будет определить как скельтонический, с примесью так называемых дурных стишков, и что в нём присутствуют разные стихотворные размеры, известные со времён Спенсера и пришедшие благодаря Чосеру и его последователям на смену деревянному грохоту силлабического стиха. Сейнтсбери обратит наше внимание и на нерегулярность стихотворных строк поэмы, свойственную пиндарическим стихам конца семнадцатого — начала восемнадцатого века, а также безрифменным стихам Фрэнка Сейерса и Мэтью Арнольда.

Выслушаем и уважаемого сэра Уолтера Рэли: «О такой совершенной поэзии невозможно читать лекцию, как невозможно долго говорить о воде, лишённой примесей. Говорить надо о поэзии поддельной, застойной или мутной от песка. Единственное, на что я способен, читая совершенные стихи, это плакать».

Что ж, приходится признать, что существуют по крайней мере три критические школы. Первая учит вслушиваться в музыкальный рокот поэтических волн, вторая исследует их метр, третья предлагает плакать от восторга. Следование сразу трём школам заведёт нас в тупик. Не лучше ли сосредоточиться на самих стихах и описать, пусть запинаясь, что мы сами ощущаем после их прочтения? В моём случае это:

«О Кристина Россетти, я должна со стыдом признать, что, хотя знаю многие твои стихи наизусть, я не прочла

все твои книги от корки до корки. Я не подражаю тебе в своей литературной работе и ничего не знаю о том, как оттачивалось твоё мастерство. Я сомневаюсь, оттачивалось ли оно вообще. Ты была из тех поэтов, что послушны лишь инстинкту. Ты смотрела на мир под определённым углом. Ни годы, ни общение с мужчинами, ни чтение книг ни в малейшей степени не поколебали твоей точки зрения. Ты откладывала в сторону книгу, если она не согласовалась с твоей верой, ты избегала людей, которые могли бы пошатнуть её. Наверное, в этом была своя мудрость. Твои инстинкты были столь непоколебимы, чисты и сильны, что благодаря им ты создавала стихи, ласкающие ухо, как мелодии Моцарта или напевы Глюка. И при всей своей гармонии твои стихи были сложны: в звуках твоей арфы слышалось одновременное звучание нескольких струн. Как все пишущие инстинктивно, ты остро ощущала красоту окружающего мира. Твои стихи были наполнены «золотой пылью», «огоньками сладчайшей герани», твой глаз подмечал и «бархатные макушки» камыша, и «стальные доспехи» ящерицы. Сама того не сознавая, ты воспринимала мир с чувственностью, достойной прерафаэлитов и неподобающей той англокатоличке, какой ты была. Впрочем, ты расплатилась с той католичкой сполна постоянством и печалью своей музыки. Та сила, с которой давила на тебя вера, не давала упорхнуть ни одной из твоих песен. И своей цельностью твой литературный труд обязан, должно быть, этой вере. Печаль, сквозившая в твоих стихах, обязана ей же: твой Бог был жестоким Богом, твой венец был терновым. Как только ты начинала славить красоту, что открывалась твоему глазу, твой разум напоминал тебе, что эта красота тщетна и преходяща. Смерть, страх забвения, желание отдохнуть накатывали на твои песни тёмной волной. Однако в этих песнях мы слышим и радостный смех, и шум дождя, и топоток звериных лап, и гортанные выкрики грачей, и сопенье-пыхтение-хрюканье «курносых и мохнатых». Ты вовсе не была святой. Ты сидела, вытя-



нужны ноги, ты щёлкала кого-то по носу. Тебе ненавистны были пустословие и отговорки. Ты была скромна и вместе с тем решительна, ты не сомневалась ни в своём даре, ни в правильности своего видения. Твёрдой рукой ты правила рисунком своих стихов, придирчивым ухом вслушивалась в их музыку. Ничто несовершенное, лишнее или неуместное не портило впечатления от твоей работы. Словом, ты была художником. И потому, даже когда ты бряцала колокольчиками просто так, чтобы отвлечься, тебя навещала пламенная гостья, благодаря которой слова в стихотворных строчках плавилась, становясь единым целым, так что выудить их оттуда не сумела бы ничья рука».

Так уж странно устроен мир и такое чудо эта Поэзия, что некоторые из стихов Кристины, написанные в маленькой задней комнате, не понесут никакого урона, в то время как мемориал принца Альберта покроется пылью и обратится в прах. Будущие поколения будут петь:

«Когда я умру, мой милый...»

или:

«Моё сердце — поющая птица...»

в то время как на месте Торрингтон-сквера вырастет коралловый лес и рыбки будут сновать в окне, у которого Кристина стояла когда-то, и на бывших мостовых будет расти трава, а вомбаты и крысы забегают на своих мягких лапках по зелёному ковру там, где прежде были проложены железнодорожные рельсы.

Размышляя о том и возвращаясь к биографии Кристины: будь я на чаепитии у миссис Тэббс, при виде маленькой пожилой женщины, поднявшейся со своего кресла и вышедшей на середину комнаты, я бы совершила нечто из ряда вон — сломала бы нож для разрезания бумаг или разбила бы чайную чашку в неуклюжем порыве восхищения, когда она сказала: «Я — Кристина Россетти».

## ЛИРИКА



## СОБИРАЮТ ЯБЛОКИ

Весною, украшая свой наряд,  
Я обрывала яблоневый цвет,  
А осенью, придя с корзиной в сад,  
Увидела: на ветках яблок нет.

С пустой корзиной возвращалась я,  
Держалась от других чуть-чуть поодаль.  
Соседи дружно славили меня,  
Подруги меж собой шутили вдоволь.

Победно распевая на ходу,  
Шли две мои сестры — Джанет и Милли.  
Их яблоки — крупнее всех в саду! —  
Так ароматны, так прекрасны были!

Гертруда — неохватные бока —  
Окликнула меня, смеясь мне в спину.  
Мужская, очень сильная рука  
Несла её тяжёлую корзину.

Ах, Вилли, Вилли, неужели те  
Обычные плоды былого лета  
Ты предпочёл любви и красоте,  
Не помнишь больше яблоневого цвета?